

Глава 19

Огонь и кнут

Бороды были сбриты, первые приветственные чаши за благополучное возвращение царя выпиты, и улыбка стерлась с лица Петра. Теперь ему предстояло заняться куда более мрачным делом: настала пора окончательно рассчитаться со стрельцами.

С тех пор как низвергли Софью, бывшие привилегированные части старомосковского войска подвергались преднамеренным унижениям. В потешных баталиях Петра в Преображенском стрелецкие полки всегда представляли «неприятеля» и были обречены на поражение. Позднее, в настоящих сражениях под стенами Азова, стрельцы понесли тяжелые потери. Их возмущало, что их к тому же заставляют рыть землю на строительстве укреплений, как будто они холопы. Стрельцам невольно было подчиняться командам чужестранных офицеров, и они роптали при виде молодого царя, послушно и охотно идущего на поводу у иноземцев, лопочущих на непонятных наречиях.

К несчастью для стрельцов, два Азовских похода убедительно показали Петру, насколько они уступают в дисциплине и боевых качествах его собственным полкам нового строя, и он объявил о намерении реформировать армию по западному образцу. После взятия Азова вместе с царем в Москву для триумфального вступления в столицу и чествования вернулись новые полки, а стрельцов оставили позади – отстраивать укрепления и стоять гарнизоном в покоренном городе. Ничего подобного прежде не случалось, ведь традиционным местопребыванием стрельцов в мирное время была Москва, где они несли караул в Кремле, где жили их жены и семьи и где служивые с выгодой приторговывали на стороне. Сейчас же некоторые из них были оторваны от дома уже почти два года, и это тоже делалось неспроста. Петр и его правительство хотели, чтобы в столице находилось как можно меньше стрельцов, и лучшим способом держать их подальше считали постоянную службу на дальних рубежах. Так, когда вдруг понадобилось усилить русские части на польской границе, власти распорядились направить туда 2000 стрельцов из полков азовского гарнизона. В Азове их собирались заменить стрельцами, оставшимися в Москве, а гвардейские и другие полки нового строя разместить в столице для охраны правительства.

Стрельцы выступили к польской границе, но их недовольство росло. Они были вне себя оттого, что предстояло идти пешком сотни верст из одного глухого сторожевого пункта в другой, а еще сильнее они злились на то, что им не позволили пройти через Москву и повидаться с семьями. По пути некоторые стрельцы дезертировали и объявились в столице, чтобы подать челобитные с жалобой на задержку жалованья и с просьбой оставить их в Москве. Челобитные были отклонены, а стрельцам велели немедленно возвращаться в полки и пригрозили наказанием. Челобитчики присоединились к своим товарищам и рассказали, как их встретили. Они принесли с собой столичные новости и уличные пересуды, большей частью касавшиеся Петра и его длительной отлучки на Запад. Еще и до отъезда царя его тяга к иностранцам и привычка раздавать иноземным офицерам высокие государственные и армейские должности сильно раздражали стрельцов. Новые слухи подлили масла в огонь. К тому же поговаривали, что Петр вконец онемечился, отрекся от православной веры, а может, и умер.

Стрельцы возбужденно обсуждали все это между собой, и их личные обиды вырастали в общее недовольство политикой Петра: отечество и веру губят враги, а царь уже вовсе не царь! Настоящему царю полагалось восседать на троне в Кремле, быть недоступным, являться народу только по великим праздникам, в порфире, усыпанной драгоценными камнями. А этот верзила целыми ночами орал и пил с плотниками и иностранцами в Немецкой слободе, на торжественных процессиях плелся в хвосте у чужаков, которых понаделал генералами и адмиралами. Нет, не мог он быть настоящим царем! Если он и вправду сын Алексея, в чем многие сомневались, значит, его околдовали, и припадки падучей доказывали, что он – дьявольское отродье. Когда все это перебродило в их сознании, стрельцы поняли, в чем их долг: сбросить этого подмененного, ненастоящего царя и

восстановить добрые старые обычаи. Как раз в этот момент из Москвы прибыл новый указ: полкам рассредоточиться по мелким гарнизонам от Москвы до польско-литовской границы, а дезертиров, недавно являвшихся в столицу, арестовать и сослать. Этот указ стал последней каплей. Две тысячи стрельцов постановили идти на Москву. 9 июня, после обеда, в австрийском посольстве в Москве Корб, вновь назначенный секретарь посольства, записал: «Сегодня впервые разнеслась смутная молва о мятеже стрельцов и возбудила всеобщий ужас». На памяти еще был бунт шестнадцатилетней давности, и теперь, боясь повторения бойни, все, кто мог, спасались из столицы.

В наступившей панике правительство, оставленное царем, собралось, чтобы договориться, как противостоять опасности. Никто не знал, много ли бунтовщиков и далеко ли они от города. Московскими полками командовал боярин Алексей Шейн, а плечом к плечу с ним, как и под Азовом, стоял старый шотландец, генерал Патрик Гордон. Шейн согласился принять на себя ответственность за подавление бунта, но потребовал от членов Боярской думы единодушного письменного одобрения своих действий, заверенного их собственноручными подписями или приложением печатей. Бояре отказались – вероятно, опасаясь, что в случае победы стрельцов эти подписи станут их смертным приговором. Тем не менее они единодушно постановили преградить стрельцам доступ в Москву, чтобы восстание не разгорелось сильнее. Решили собрать все сохранившие верность войска, какие удастся, и направить навстречу стрельцам, пока они не подошли к городу.

Два гвардейских полка, Преображенский и Семеновский, получили приказ за час подготовиться к выступлению. Дабы в зародыше удушить искры бунта, которые могли перекинуться и на эти полки, в указе говорилось, что каждый, кто откажется пойти против изменников, сам будет объявлен изменником. Гордон отправился в полки вдохновлять солдат и внушать им, что нет более славного и благородного дела, чем биться за спасение государя и государства от предателей. Четырехтысячный отряд был поставлен под ружье и выступил из города на запад. Впереди ехали Шейн и Гордон, а главное, с ними был артиллерийский офицер из Австрии, полковник Граге, и двадцать пять полевых пушек.

Столкновение произошло в тридцати пяти милях к северо-западу от Москвы, вблизи знаменитого Новоиерусалимского монастыря патриарха Никона. Преимущество в численности, в эффективности командования, в артиллерии – то есть во всем – было на стороне правительственных войск, и даже время им благоприятствовало. Подойди стрельцы часом раньше, они успели бы занять неприступный монастырь и продержаться в осаде, до тех пор пока у осаждавших не ослабел бы боевой дух, а тогда, возможно, бунтовщикам удалось бы привлечь часть из них на свою сторону. Обнесенная стенами крепость послужила бы стрельцам тактической опорой. Теперь же противники сошлись на открытой холмистой местности.

Неподалеку от монастыря протекала речка. Шейн и Гордон заняли позиции на ее возвышенном восточном берегу, перекрыв дорогу к Москве. Вскоре показались длинные колонны стрельцов с пищалями и бердышами, и головные отряды начали переходить речку вброд. Гордон, желая выяснить, нельзя ли покончить дело миром, спустился с берега поговорить с бунтовщиками. Когда первые из стрельцов ступили на сушу, он, на правах старого солдата, посоветовал им встать на ночлег в удобном месте на противоположном берегу, так как близилась ночь и дойти до Москвы засветло они бы все равно не успели. А завтра утром, отдохнув, решили бы, что делать дальше. Усталые стрельцы заколебались. Они не ожидали, что драться придется еще перед Москвой, и теперь, увидав, что против них подняли правительственные части, послушались Гордона и принялись устраиваться на ночлег. Представитель стрельцов, десятник Зорин, вручил Гордону незаконченную челобитную с жалобой: «Сказано им служить в городех погодно, а в том же году, будучи под Азовом умышлением еретика иноземца Францка Лефорта, чтобы благочестию великое препятие учинить, чин их московских стрельцов подвел он, Францко, под стену безвременно и, поставя в самых нужных к крови местах, побито их множество; его же умышлением, делан подкоп под их шанцы и тем подкопом он их же побил человек с 300 и больше».

Были там и другие жалобы, например на то, что стрельцы слышали, будто в Москву едут немцы сбрить всем бороды и заставить прилюдно курить табак к поношению православия. Пока Гордон вел переговоры с бунтовщиками, войска Шейна потихоньку окапывались на возвышенном восточном берегу, а Граге размещал на этой высоте свои пушки, дулами нацеленные вниз, через речку, на стрельцов.

Когда на другой день рассвело, Гордон, довольный занятой позицией, для укрепления которой не пожалели усилий, опять спустился для переговоров со стрельцами. Те требовали, чтобы их челобитную зачитали правительственным войскам. Гордон отказался, ибо это был, по сути дела, призыв к оружию против царя Петра и приговор его ближайшим друзьям, в первую очередь Лефорту. И тогда Гордон заговорил о милосердии Петра. Он убеждал стрельцов мирно вернуться назад, на гарнизонную службу, так как бунт не мог привести ни к чему хорошему. Он обещал, что если они представят свои требования мирно, с подобающими выражениями преданности, то он проследит, чтобы они получили возмещение за свои обиды и помилование за проявленное неповиновение. Но Гордон потерпел неудачу. «Я истощил все свое красноречие, но напрасно», – писал он. Стрельцы сказали только, что не вернутся на свои посты, «пока им не позволят поцеловать жен, оставшихся в Москве, и не выдают всех денег, которые задолжали».

Гордон доложил обо всем Шейну, в третий и последний раз вернулся к стрельцам и повторил свое прежнее предложение – выплатить им жалованье и даровать прощение. Но к этому времени стрельцов охватили тревога и нетерпение. Они пригрозили Гордону – своему бывшему командиру, но все-таки иностранцу, – чтобы он убирался подобру-поздорову, а не то получит пулю за все свои старания. Стрельцы кричали, что не признают над собой никаких хозяев и ничьим приказам подчиняться не станут, что в гарнизоны они не вернутся и требуют пропустить их к Москве, а если путь им преградят, то они проложат его клинками. Разъяренный Гордон вернулся к Шейну, и войска изготавились к бою. Стрельцы на западном берегу тоже построились в ряды, встали на колени и помолились перед боем. На обоих берегах речушки русские солдаты осеяли себя крестным знаменем, готовясь поднять оружие друг на друга.

Первые выстрелы раздались по команде Шейна. Пушки рявкнули и окутались дымом, но урона никому не причинили. Полковник Граге стрелял холостыми – Шейн надеялся, что эта демонстрация силы напугает стрельцов и заставит покориться. Но холостой залп принес обратный результат. Услышав грохот выстрела, но не увидев потерь в своих рядах, стрельцы расхрабрились и сочли, что перевес на их стороне. Они ударили в барабаны, развернули знамена и двинулись через реку. Тут Шейн с Гордоном приказали Граге применить свои пушки всерьез. Снова прогремел залп, и в ряды стрельцов со свистом полетели снаряды. Снова и снова стреляли все двадцать пять пушек – прямой наводкой в людскую массу. Ядра градом сыпались на стрельцов, отрывая головы, руки, ноги.

Через час все было кончено. Пушки еще палили, когда стрельцы, спасаясь от огня, легли на землю и запросили пощады. Их противники прокричали, чтобы те бросали оружие. Стрельцы поспешно подчинились, но артиллерийский обстрел все не стихал. Гордон рассудил, что, если пушки замолчат, стрельцы опять могут осмелеть и пойдут в атаку прежде, чем их удастся толком разоружить. Вконец запуганные и присмирившие стрельцы позволили себя заковать и связать – угрозы они больше не представляли.

Шейн был беспощаден с закованными в железо мятежниками. Он велел приступить к расследованию мятежа прямо на месте, на поле битвы, где в цепях, под охраной солдат, собрали всех бунтовщиков. Он хотел знать причину, подстрекателей и цели выступления. Все до единого допрошенные им стрельцы признавали собственное участие в мятеже и соглашались, что заслужили смерть. Но так же, без единого исключения, все они отказались сообщить хоть что-нибудь о своих целях или указать на кого-нибудь из товарищей как на вдохновителей или зачинщиков. Поэтому там же, в живописных окрестностях Нового Иерусалима, Шейн велел пытать бунтовщиков. Кнут и огонь сделали свое дело, и наконец одного стрельца заставили говорить. Признав, что и он, и все его сотоварищи достойны

смерти, он сознался, что, если бы бунт закончился победой, они собирались сначала разгромить и сжечь Немецкую слободу, перерезать всех ее обитателей, а затем вступить в Москву, покончить со всеми, кто окажет сопротивление, схватить главных царевых бояр – одних убить, других сослать. Затем предполагалось объявить народу, что царь, уехавший за границу по злобному наущению иноземцев, умер на Западе и что до совершеннолетия сына Петра, царевича Алексея, вновь будет призвана на регентство царевна Софья. Служить же Софье советником и опорой станет Василий Голицын, которого вернут из ссылки.

Возможно, это была правда, а быть может, Шейн просто вынудил стрельца сказать под пыткой то, что ему хотелось услышать. Так или иначе, он был удовлетворен, и на основе этого признания приказал палачам приступить к делу. Гордон возражал – не для того, чтобы спасти обреченных людей, а чтобы сохранить их для более тщательного расследования в будущем. Предвидя, что Петр, вернувшись, станет изо всех сил докапываться до самого дна, он отговаривал Шейна. Но Шейн был командиром и утверждал, что немедленная расправа необходима в назидание остальным стрельцам, да и всему народу. Пусть знают, как поступают с предателями. Сто тридцать человек казнили на месте, а остальных, почти 1900 человек, в цепях привели в Москву. Там их передали Ромодановскому, который распределил арестантов по темницам окрестных монастырей и крепостей дожидаться возвращения государя.

* * *

Петру, мчавшемуся домой из Вены, по дороге сообщили о легкой победе над стрельцами и заверили его, что ни один не ушел от расплаты. Но хотя восстание задушили быстро, да оно всерьез и не угрожало трону, царь был глубоко обеспокоен. Едва прошла тревога и притупилась горечь унижения оттого, что, стоило ему уехать, его собственная армия взбунтовалась, Петр призадумался – в точности как и предвидел Гордон, – глубоко ли уходят корни мятежа и кто из высокопоставленных особ может оказаться причастным к нему. Петр сомневался, чтобы стрельцы выступили самостоятельно. Их требования, их обвинения против его друзей, против него самого и его образа жизни казались слишком обдуманными для простых солдат. Но кто их подстрекал? По чьему наущению?

Никто из его бояр и чиновников не мог дать вразумительного ответа. Доносили, что стрельцы под пыткой проявляют стойкость и невозможно добиться от них никаких сведений. Охваченный гневом, полный подозрений Петр приказал солдатам гвардейских полков собрать пленных стрельцов из всех темниц вокруг Москвы и свезти их в Преображенское. Петр твердо вознамерился выяснить в ходе дознания, или розыска, не возшло ли вновь семя Милославских, как он писал Ромодановскому. И неважно – оказалось бы восстание стрельцов мощным, разветвленным заговором с целью его свержения или нет, царь все равно решил покончить со всеми своими «злокозненными» врагами. С самого его детства стрельцы противостояли и угрожали ему – поубивали его друзей и родственников, поддерживали посягательства узурпаторши Софьи и в дальнейшем продолжали злоумышлять против него. Всего за две недели до отъезда царя в Европу раскрылся заговор стрелецкого полковника Цыклера. Теперь стрельцы снова поносили и его друзей-иностранцев, и его самого, и даже выступили на Москву, чтобы сокрушить правительство. Все это Петру порядком надоело: вечная тревога и угроза, наглые притязания стрельцов на особые привилегии и право воевать когда и где им захочется, притом что солдаты они были никудышные, – словом, ему надоело терпеть этот пережиток Средневековья в новом, изменившемся мире. Так или иначе, пора было раз и навсегда от них избавиться.

* * *

Розыск означал допрос под пыткой. Пытка в петровской России применялась с тремя целями: чтобы заставить человека говорить; в качестве наказания, даже если никакой

информации не требовалось; наконец, в качестве прелюдии к смертной казни или ради усугубления мук преступника. В ходу было три главных способа пытки – батогами, кнутом и огнем.

Батоги – небольшие прутья или палки примерно в палец толщиной, которыми, как правило, били виновных в небольших проступках. Жертва лежала на полу лицом вниз, с оголенной спиной и вытянутыми руками и ногами. Наказуемого секли по голой спине сразу двое, причем один становился на колени или садился прямо ему на руки и голову, а другой – на ноги. Сидя лицом друг к другу, они по очереди ритмично взмахивали батогами, «били размеренно, как кузнецы по наковальне, пока их палки не разлетались в куски, а тогда брали новые, и так, пока им не прикажут остановиться». Если ненароком слишком много батогов назначали ослабленному человеку, это могло привести к смерти, хотя такое случалось нечасто.

Более суровое наказание, кнутом, применялось в России издавна как способ причинить жестокую боль. Кнут представлял собой широкий и жесткий кожаный бич длиной около трех с половиной футов⁶⁸. Удар кнута рвал кожу на обнаженной спине жертвы, а попадая снова и снова по тому же месту, мог вырвать мясо до костей. Строгость наказания определялась количеством ударов; обычно назначали от пятнадцати до двадцати пяти – большее число часто приводило к смерти.

Порка кнутом требовала мастерства. Палач, по свидетельству Джона Перри, обрушивал на жертву «столько ударов по голой спине, сколько присуждали судьи, – отступая на шаг, а затем прыгая вперед при каждом ударе, который наносится с такой силой, что всякий раз брызжет кровь и остается рубец толщиной в палец. Эти заплечных дел мастера, как их называют русские, отличаются такой точностью в работе, что редко бьют дважды по одному и тому же месту, но кладут удары по всей длине и ширине спины, один к одному, с большой сноровкой, начиная от плеч и вниз, до пояса штанов наказуемого».

Обычно жертву для порки кнутом привязывали к спине другого человека, частенько – какого-нибудь крепкого парня, которого выбирал палач из числа зрителей. Руки несчастного перекидывали через плечи этого человека, а ноги привязывали к его коленям. Затем один из подручных заплечного мастера хватал жертву за волосы и отдергивал его голову, отводя ее от размеренных ударов кнута, которые падали на распластанную, вздымающуюся при каждом ударе спину.

При желании можно было применять кнут еще более мучительным способом. Руки пытаемого скручивали за спиной, к запястьям привязывали длинную веревку, которую перекидывали через ветку дерева или балку над головой. Когда веревку тянули вниз, жертву тащило вверх за руки, ужасающим образом выворачивая их из плечевых суставов. Чтобы уж наверняка вывихнуть руки, к ногам несчастного иногда привязывали тяжелое бревно или другой груз. Страдания жертвы и так были невыносимы, а тут палач еще принимался молотить по вывернутой спине, нанося положенное число ударов, после чего человека опускали на землю и руки вправляли на место. Бывали случаи, что эту пытку повторяли с недельным перерывом до тех пор, пока человек не сознавался.

Пытка огнем применялась часто, иногда сама по себе, иногда в сочетании с другими мучениями. Простейший ее вид сводился к тому, что человеку «связывают руки и ноги, прикрепляют его к шесту, как к вертелу, и поджаривают обнаженную спину над огнем и при этом допрашивают и призывают сознаться». Иногда человека, только что выпоротого кнутом, снимали с дыбы и привязывали к такому шесту, так что спина его перед поджариванием уже была превращена кнутом в кровавое месиво. Или жертву, все еще висящую на дыбе после порки кнутом и истекающую кровью, пытали, прижигая спину каленым железом.

Казни в России в целом напоминали те, что практиковались в других странах. Преступников сжигали, вешали или рубили им головы. Жгли на костре из бревен,

⁶⁸ Около 107 см. – *Примеч. ред.*

уложенных поверх соломы. При отсечении головы от приговоренного требовалось положить голову на плаху и подставить шею под топор или меч. Эту легкую, мгновенную смерть иногда делали более мучительной, отрубая сначала руки и ноги. Подобные казни были делом до того обыкновенным, что, как писал один голландский путешественник, «если в одном конце города кого-то казнят, в другом об этом нередко даже не знают». Фальшивомонетчиков наказывали, расплавляя их же монеты и заливая расплавленный металл им в горло. Насильников кастрировали.

Публичными пытками и казнями нельзя было в XVII веке удивить ни одного европейца, но все-таки в России иностранцев неизменно поражало то стоическое, непреодолимое упорство, с которым большинство русских переносило эти ужасные мучения. Они терпели чудовищную боль, но не выдавали товарищей, а когда их приговаривали к смерти, смиренно и спокойно шли на виселицу или на плаху. Один наблюдатель видел в Астрахани, как в полчаса обезглавили тридцать мятежников. Никто не шумел и не роптал. Приговоренные просто подходили к плахе и клали головы в лужу крови, оставленную их предшественниками. Ни у одного даже не были связаны за спиной руки.

Эта невероятная стойкость и способность терпеть боль изумляла не только иностранцев, но и самого Петра. Однажды глубоко потрясенный царь подошел к человеку, перенесшему четыре испытания кнутом и огнем, и спросил, как же он мог выдержать такую страшную боль. Тот охотно разговорился и открыл Петру, что существует пыточное общество, членом которого он состоит. Он объяснил, что до первой пытки туда никого не принимают и что продвижение на более высокие ступени в этом обществе зависит от способности выносить все более страшные пытки. Кнут для этих странных людей был мелочью. «Самая жгучая боль, – объяснил он Петру, – когда в ухо засовывают раскаленный уголь; а еще когда на обриту голову потихоньку, по капельке, падает сверху студеная вода».

Не менее удивительно, и даже трогательно, что иногда тех же русских, которые были способны выстоять под огнем и кнутом и умереть, не раскрыв рта, можно было сломить добротой. Это и произошло с человеком, рассказавшим Петру о пыточном обществе. Он не произнес ни слова, хотя его пытали четырежды. Петр, видя, что болью его не проймешь, – подошел и поцеловал его со словами: «Для меня не тайна, что ты знаешь о заговоре против меня. Ты уже довольно наказан. Теперь сознайся по собственной воле, из любви, которой ты мне обязан как своему государю. И я клянусь Господом, сделавшим меня царем, не только совершенно простить тебя, но и в знак особой милости произвести тебя в полковники». Этот неожиданный поворот дела так взволновал и растрогал узника, что он обнял царя и проговорил: «Вот это для меня величайшая пытка. Иначе ты бы не заставил меня заговорить». Он обо всем рассказал Петру, и тот сдержал слово, простил его и сделал полковником»⁶⁹.

* * *

XVII век, как и все предыдущие и последующие столетия, был невероятно жестоким. Во всех странах применялись пытки за самые различные провинности и особенно за преступления против коронованных особ и государства. Обычно, поскольку монарх и был олицетворением государства, любое посягательство на его персону, от убийства до самого умеренного недовольства его правлением, расценивалось как государственная измена и соответственно каралось. А вообще, человек мог подвергнуться пытке и казни только за то, что посещал не ту церковь или обчистил чьи-то карманы.

По всей Европе на любого, кто задевал личность или достоинство короля, обрушивалась вся тяжесть закона. В 1613 году во Франции убийцу Генриха IV разорвали на

⁶⁹ Этот эпизод не вошел в русский перевод сочинения Корба (СПб., 1906) и вызывает большие сомнения с точки зрения достоверности. – *Примеч. ред.*

куски четверкой лошадей на площади Отель-де-Виль на глазах у огромной толпы парижан, которые привели детей и захватили с собой корзинки с завтраками. Шестидесятилетнему французу вырвали язык и отправили на галеры за то, что он непочтительно отозвался о Короле-Солнце. Рядовым преступникам во Франции рубили головы, сжигали их заживо или ломали им руки и ноги на колесе. Путешественники по Италии жаловались на выставленные для публичного обозрения виселицы: «Мы видим вдоль дороги столько трупов, что путешествие становится неприятным». В Англии к преступникам применялась «казнь суровая и жестокая»: на грудь жертвы клали доску и ставили на нее гирю за гирей, пока наказуемый не выпускал дух. За государственную измену в Англии карали повешением, потрошением и четвертованием. В 1660 году Сэмюэл Пипс записал в дневнике: «Я ходил на Чаринг-Кросс, смотрел, как там вешают, выпускают внутренности и четвертуют генерал-майора Харрисона. При этом он выглядел так бодро, как только возможно в подобном положении. Наконец с ним покончили и показали его голову и сердце народу – раздались громкие ликующие крики».

Однако жестокое воздаяние полагалось не только за политические преступления. В Англии во времена Петра сжигали ведьм, и даже столетие спустя их все еще казнили – вешали. В 1692 году, за шесть лет до стрелецкого бунта, за колдовство повесили двадцать молодых женщин и двух собак в Салеме, штат Массачусетс. Почти весь XVIII век англичан казнили за кражу пяти шиллингов и вешали женщин за хищение носового платка. На королевском флоте за нарушение дисциплины секли кошками-девятихвостками (плетьми), и эти порки, нередко приводившие к смерти, отменили только в 1881 году.

Все это говорится здесь, чтобы представить общую картину. Немногие из нас, людей XX века, станут лицемерно изумляться варварству былых времен. Государства по-прежнему казнят предателей, по-прежнему происходят и пытки, и массовые казни как в военное, так и в мирное время, причем, благодаря современным техническим достижениям, они стали изощреннее и эффективнее. Уже в наше время власти более чем шестидесяти стран, в том числе Германии, России, Франции, Великобритании, США, Японии, Вьетнама, Кореи, Филиппин, Венгрии, Испании, Турции, Греции, Бразилии, Чили, Уругвая, Парагвая, Ирана, Ирака, Уганды и Индонезии, пытали людей от имени государства. Немногие века могут похвастаться более дьявольским изобретением, чем Освенцим. Еще недавно в советских психиатрических клиниках политических диссидентов пытали разрушительными медикаментами, созданными, чтобы сломить сопротивление и привести к распаду личности. Только современная техника сделала возможным такое зрелище, как казнь через повешение четырнадцати евреев в Багдаде, на площади Свободы, перед полумиллионной толпой... К услугам же тех, кто не мог там присутствовать, – крупные планы раскачивающихся тел, часами показываемые по иракскому телевидению.

В петровское время, как и в наше, пытки совершались ради получения информации, а публичные казни – чтобы нагнать страху на потенциальных преступников. Оттого, что ни в чем не повинные люди под пытками возводили на себя напраслину, чтобы избежать мучений, пытки не исчезли с лица земли, так же как казни преступников не заставили исчезнуть преступность. Бесспорно, государство вправе защищаться от нарушителей закона и, по всей вероятности, даже обязано устрашением предотвращать возможные непорядки, но насколько глубоко должно государство или общество погрязнуть в репрессиях и жестокости, прежде чем поймет, что цель давно уже не оправдывает средств? Этот вопрос так же стар, как политическая теория, и здесь мы его, конечно, не разрешим. Но когда мы говорим о Петре, нам следует об этом помнить.

* * *

По царскому указанию князь Ромодановский доставил всех захваченных в плен изменников в Преображенское, где приготовил для них четырнадцать пыточных камер. Шесть дней в неделю (по воскресеньям был выходной), неделю за неделей, допрашивали на

этом пыточном конвейере всех уцелевших пленников, 1714 человек. Половину сентября и почти весь октябрь стрельцов секли кнутами и жгли огнем. Тем, кто признавал одно обвинение, тут же предъявляли другое и заново допрашивали. Как только один из бунтовщиков выдавал какие-нибудь новые сведения, всех уже допрошенных по этому поводу заново волокли для повторного расследования. Людей, доведенных пытками до полного изнеможения или потери рассудка, передавали докторам, чтобы лечением привести их в готовность к новым истязаниям.

Стрелец Колпаков, один из руководителей заговора, после порки кнутом, с сожженной спиной, лишился дара речи и потерял сознание. Испугавшись, что он умрет раньше времени, Ромодановский поручил его заботам личного лекаря Петра, доктора Карбонари. Как только больной пришел в себя и достаточно окреп, его опять взяли на допрос. Еще один офицер, потерявший способность говорить, также попал на излечение к доктору Карбонари. Доктор по недосмотру забыл острый нож в камере, где занимался этим пациентом. Тот, не желая, чтобы его жизнь, все равно уже конченную, продлили на новые муки, схватил нож и попытался перерезать себе горло. Но он до того ослабел, что не смог нанести достаточно глубокой раны, – бессильная рука опустилась, и он впал в беспамятство. Его нашли, подлечили и вернули в пыточную камеру.

Все ближайшие друзья и соратники Петра участвовали в этой бойне – это даже рассматривалось как знак особого царского доверия. Поэтому к пыткам были призваны такие люди, как Ромодановский, Борис Голицын, Шейн, Стрешнев, Петр Прозоровский, Михаил Черкасский, Владимир Долгорукий, Иван Троекуров, Юрий Щербатов и старый наставник Петра, Никита Зотов. Петр рассчитывал, что если заговор успел распространиться и в нем были замешаны бояре, то верные сподвижники выявят измену и ничего от царя не утаят. Сам Петр, отравленный подозрительностью и злобой, тоже участвовал в розыске, а иногда, орудуя своей тяжелой тростью с ручкой из слоновой кости, лично допрашивал тех, кого считал главными зачинщиками.

Однако нелегко было сломить стрельцов, и сама их выносливость нередко приводила царя в ярость. Вот что писал об этом Корб: «Подвергали пытке одного соучастника в мятеже. Вопли, которые он выпускал в то время, как его привязывали к виселице, подавали надежду, что мучения заставят его сказать правду, но вышло совсем иначе: сначала веревка начала раздирать ему тело так, что члены его с ужасным треском разрывались в своих суставах, после дали ему тридцать ударов кнутом, но он все молчал, как будто от жестокой боли замирало и чувство, естественное человеку. Всем казалось, что этот страдалец, изнемогши от излишних истязаний, утратил способность выпускать стоны и слова, и потому отвязали его от виселицы и сейчас же спросили: „Знает ли он, кто там был?“ И точно к удивлению присутствующих, он назвал по имени всех соумышленников. Но когда дошло вновь до допроса об измене, он опять совершенно онемел и хотя по приказанию царя жгли его у огня целую четверть часа, но он все-таки не прервал молчания. Преступное упорство изменника так раздражало царя, что он изо всей силы ударил его палкой, которую держал в руках, чтобы яростно чрез то прекратить его упорное молчание и добыть у него голоса и слов. Вырвавшиеся при этом с бешенством у царя слова: „Признайся, скотина, признайся!“ – ясно показали всем, как он был страшно раздражен».

Хотя допросы предполагалось вести тайно, вся Москва знала, что творится нечто ужасное. Тем не менее Петру очень хотелось скрыть расправу над стрельцами, особенно от иностранцев. Он понимал, какое впечатление произведет эта волна террора на европейские дворы, где он только что побывал, и пытался спрятать свои пыточные камеры от глаз и ушей европейцев. Однако ходившие в городе слухи порождали у всех острейшее любопытство. Группа иностранных дипломатов отправилась верхом в Преображенское в расчете что-нибудь разузнать. Проехав мимо трех домов, из которых доносились ужасные стоны и вой, они остановились и спешили возле четвертого дома, откуда слышались еще более жуткие вопли. Войдя, дипломаты увидели царя, Льва Нарышкина и Ромодановского и страшно перепугались. Они попятились, а Нарышкин спросил, кто они такие и зачем приехали, а

потом гневно велел ехать к дому Ромодановского, где с ними разберутся. Дипломаты, поспешно сядя на лошадей, отказались подчиниться и заявили Нарышкину, что, если ему угодно поговорить с ними, он может прибыть для этого в посольство. Появились русские солдаты, и один гвардейский офицер попробовал стащить с седла кого-то из иностранцев. Тут непрощенные гости отчаянно прищипорили лошадей и ускакали, счастливо миновав солдат, уже бежавших им наперерез.

Наконец слухи о пытках достигли такого накала, что патриарх вызвался ехать к царю и просить пощады для несчастных. Он вошел с иконой Пресвятой Богородицы в руках, напомнил Петру о том, что человек слаб и к оступившимся надо проявлять милосердие. Петр, недовольный вмешательством духовных властей в мирские дела, ответил ему в сильном волнении: «Зачем пришел ты сюда с иконою? По какому долгу твоего звания ты здесь явился? Убирайся отсюда живее, отнеси икону туда, где должно ее хранить с подобающей ей честью! Знай, что я чту Бога и почитаю Пресвятую Богородицу, может быть, более, чем ты. Но мой верховный сан и долг перед Господом повелевают мне охранять народ и карать в глазах всех злодеяния, клонящиеся к его гибели». Петр сказал еще, что в этом деле справедливость и суровость идут рука об руку, так как зараза глубоко поразила общество и истребить ее можно лишь огнем и железом: Москва будет спасена не набожностью, а жестокостью⁷⁰.

Волна царского гнева захлестнула всех без исключения. Священников, уличенных в том, что они молились за мятежников, приговаривали к казни. Жена какого-то мелкого подьячего, проходя мимо виселиц, стоявших перед Кремлем, проговорила, увидев повешенных: «Кто знает, виноваты ли вы или нет?» Ее услышали и донесли, что она сочувствует осужденным изменникам. И женщину, и ее мужа арестовали и допросили. Им удалось доказать, что произнесенные слова лишь выражали жалость ко всем страждущим, и тем избежать смерти, но из Москвы их все же выслали.

Жалкие, вырванные под пытками признания корчащихся от боли, кричащих и стонущих, едва ли отвечающих за свои слова людей позволили Петру узнать ненамного больше, чем уже установил Шейн: стрельцы собирались захватить столицу, сжечь Немецкую слободу, перебить бояр и призвать Софью на царство. При ее отказе они намеревались обратиться к восьмилетнему царевичу Алексею, а последняя надежда возлагалась на бывшего любовника Софьи, князя Василия Голицына, «ибо он всегда был к нам милостив». Петр удостоверился, что ни один из бояр или значительных представителей власти и дворянства причастен к делу стрельцов не был, однако главные вопросы остались без ответа: существовал ли заговор против его жизни и власти? А главное, знала ли Софья о готовящемся восстании и поощряла ли его?

Петр всегда с подозрением относился к сестре и не мог поверить, что она не плетет против него непрерывных интриг. Чтобы проверить эти подозрения, допросили некоторое число женщин, в том числе стрельцких жен и всю Софью женскую прислугу. Двух сенных девушек отвели в пыточные камеры, раздели по пояс. Одной уже успели нанести несколько ударов кнутом, когда вошел Петр. Он заметил, что она беременна, и посему освободил ее от дальнейших пыток. Впрочем, это не помешало приговорить обеих женщин к смерти.

Один стрелец, Васька Алексеев, под пыткой объявил, что в стрелецкий лагерь были, якобы от Софьи, присланы два письма и читаны вслух солдатам. Эти письма будто бы содержали призывы к стрельцам поскорее выступить на Москву, захватить Кремль и призвать царевну на трон. По одному сообщению, письма тайком вынесли из Софьиных комнат в караваях, которые Софья послала старухам нищенкам. Были и другие письма, не столь возмутительные, от Марфы, Софьиной сестры, к царевне, с сообщением, что стрельцы

⁷⁰ Патриарх поступал так согласно древнейшей православной традиции просить-печаловаться за казнимых. Отказать ему в такой просьбе считалось в древности невозможным. То, что Петр отчитал патриарха как мальчишку, а тот в ответ промолчал, говорит о происшедшем к тому времени коренном изменении соотношения сил в пользу светской власти, о превосходстве государственной морали над общечеловеческой, христианской. – *Примеч. ред.*

идут на Москву.

Петр сам поехал в Новодевичий монастырь допрашивать Софью. О пытках речи быть не могло; рассказывали, что он не знал, как быть: то ли вместе с сестрой разрыдаться над судьбой, сделавшей их врагами, то ли пригрозить ей смертью, напомнив об участии Марии Стюарт, которую Елизавета I отправила на эшафот. Софья отрицала, что когда-либо писала к стрельцам. На его предположение, что, может, она намекала им на возможность привести ее к власти, царевна просто ответила, что для этого им не требовалось ее писем, – они и так, поди, не забыли, что она семь лет правила страной. В общем, Петр ничего от Софьи не узнал. Он сохранил сестре жизнь, но решил содержать ее в более строгой изоляции. Ее заставили постричься и принять монашеский обет под именем монахини Сусанны. Царь велел ей постоянно жить в Новодевичьем монастыре, где ее караулила сотня солдат, и ни с кем не встречаться. Так прожила она еще шесть лет и в 1704 году умерла сорока семи лет от роду. Ее сестры Марфа и Екатерина Милославские (как и Софья – сводные сестры Петра) были признаны невиновными, но Марфу тоже сослали в монастырь до конца ее дней.

* * *

Первые казни приговоренных стрельцов состоялись в Преображенском 10 октября. За казармами круто уходило вверх голое поле, и там, на вершине холма, поставили виселицы. Между местом казни и толпой зрителей, которые расталкивали друг друга и вытягивали шеи, чтобы лучше видеть, выстроился гвардейский полк. Стрельцов, многие из которых уже не могли идти сами, доставили на телегах, тянувшихся длинной вереницей. Приговоренные сидели на телегах по двое, спина к спине, и у каждого в руках горела свеча. Почти все они ехали в молчании, но их жены и дети, бежавшие рядом, оглашали окрестности плачем и жалобными причитаниями. Когда телеги перебрались через ручеек, отделявший виселицы от толпы, рыдания и крики перешли в громкий, всеобщий вопль.

Все телеги прибыли к месту казни, и Петр, в зеленом польском камзоле, подаренном Августом, появился с боярами возле экипажей, из которых за происходящим наблюдали послы империи Габсбургов, Польши и Дании. Когда читали приговор, Петр кричал толпе, призывая всех слушать внимательнее. Затем виновные в колодах, чтоб не сбежали, пошли к виселицам. Каждый старался взобраться на помост самостоятельно, но кое-кому пришлось помогать. Наверху они крестились на все четыре стороны и надевали на головы мешки. Некоторые сами сунули головы в петлю и бросились вниз с помоста в надежде сломать себе шею и найти быструю смерть. И вообще, стрельцы встречали смерть очень спокойно, один за другим, без особенной печали на лицах. Штатные палачи не могли справиться с такой огромной работой, поэтому Петр велел нескольким офицерам помочь им. Тем вечером, по сообщению Корба, Петр поехал ужинать к генералу Гордону. Он сидел в мрачном молчании и только раз упомянул упрямую враждебность казенных.

Это жуткое зрелище стало первым в череде множества подобных сцен той осени и зимы. Каждые несколько дней казнили по несколько десятков человек. Двести стрельцов повесили на городских стенах, на балках, просунутых в бойницы, по двое на каждой. У всех городских ворот висели на виселицах по шесть тел в назидание въезжающим, напоминая, к чему ведет измена. 11 октября на Красной площади повесили 144 человека – на бревнах, вставленных между зубцами кремлевской стены. Сто девять других обезглавили топорами и мечами в Преображенском над заранее вырытой общей могилой. Трех братьев из числа самых злостных бунтовщиков казнили на Красной площади – двоих изломали на колесе и оставили на медленную смерть, а третьему у них на глазах отрубили голову. Оба переживших его брата горько сетовали на несправедливость – их брату досталась завидно легкая и быстрая смерть.

Некоторым выпали особенные унижения. Для полковых священников, подстрекавших стрельцов, соорудили особую виселицу в форме креста перед храмом Василия Блаженного. Вешал их придворный шут, наряженный попом. Чтобы самым недвусмысленным образом

продемонстрировать связь между стрельцами и Софьей, 196 мятежников повесили на больших виселицах возле Новодевичьего монастыря, где томила́сь царевна. А троих, предполагаемых зачинщиков, вздернули прямо за окном Софьиной кельи, причем в руку одного из них вложили бумагу с челобитной стрельцов о призвании Софьи на царство. До самого конца зимы они раскачивались перед ней так близко, что можно было из окна до них дотронуться.

Казнили не всех солдат четырех восставших полков. Пяти сотням стрельцов, не достигшим двадцати лет, Петр смягчил приговор, заменив казнь клеймением правой щеки и ссылкой. Другим отрубали носы и уши и оставляли жить с этими страшными отметинами. На протяжении всего царствования Петра безносые, безухие, клейменные, живые свидетельства царского гнева и одновременно – царской милости бродили по окраинам его владений.

Корб доносил в своих сообщениях, что ослепленный жаждой отмщения Петр заставил некоторых своих любимцев работать палачами. Так, 27 октября в Преображенское вызвали бояр, входивших в совет, который выносил приговоры стрельцам, и приказали самим осуществить казнь. К каждому боярину подвели по стрельцу, выдали топор и велели рубить голову. У некоторых, когда они брали топоры, тряслись руки, поэтому примеривались они плохо и рубили недостаточно сильно. Один боярин ударил слишком низко и попал бедняге посередине спины, едва не разрубив его пополам. Несчастный извивался и кричал, исходя кровью, а боярин никак не мог справиться со своим делом.

Но двое сумели отличиться в этой кровавой работе. Князь Ромодановский, уже прославившийся своей беспощадностью в пыточных камерах, самолично обезглавил, согласно сообщению Корба, четверых стрельцов. Неумолимая свирепость Ромодановского, «жестокостью превосходившего всех остальных», коренилась, вероятно, в гибели его отца от рук стрельцов в 1682 году. Молодой фаворит царя, Александр Меншиков, стремившийся угодить Петру, хвастался потом, что отрубил двадцать голов. Отказались только иностранцы из приближенных Петра, говоря, что в их странах не принято, чтобы люди их ранга выступали в роли палача. Петр, по словам Корба, наблюдал за всей процедурой из седла и досадливо морщился при виде бледного, дрожащего боярина, который страшился взять в руки топор.

Кроме того, Корб утверждает, что Петр сам казнил несколько стрельцов: в день казни в Преображенском секретарь австрийского посла стоял рядом с одним немецким майором, служившим в петровской армии. Майор оставил Корба на месте, а сам протолкался сквозь толпу и, вернувшись, рассказал, что видел, как царь собственноручно обезглавил пятерых стрельцов. Позднее той же осенью Корб записал: «Говорят всюду, что сегодня его Царское величество вновь казнил нескольких государственных преступников». Большинство историков на Западе и в России как дореволюционные, так и советские не признают истинности этих основанных на слухах свидетельств. Но читатель, уже увидевший в характере Петра чрезмерную жестокость и неистовость, без труда представит себе, как царь орудует топором палача. Охваченный гневом, Петр и в самом деле впадал в неистовство, а бунтовщики его разъярили, снова с оружием в руках ополчившись на его трон. Безнравственным для него было предательство, а не кара за него. Те же, кто не желает верить, что Петр сделался палачом, могут утешиться тем, что ни Корб, ни его австрийские сослуживцы не видели описанных эпизодов собственными глазами, так что их показания не имели бы силы в современном суде.

Но если в этом вопросе и могут быть сомнения, то их не остается, когда речь идет об ответственности Петра за массовые истязания и казни или о присутствии его в пыточных камерах, где с людей сдирали кожу и жгли их огнем. Нам это кажется чудовищным зверством – Петру представлялось необходимостью. Он был возмущен и разгневан и хотел сам услышать правду. По словам Корба, «царь до того не доверяет боярам... что опасается допустить их хотя малейшее участие в производстве малейшего следствия. Поэтому сам он составляет вопросы, сам допрашивает преступников». К тому же Петр всегда без колебаний

участвовал в тех предприятиях, которыми командовал, – и на поле боя, и на палубе корабля, и в пыточном застенке. Он распорядился расследовать действия стрельцов и разделаться с ними, и не в его характере было спокойно дожидаться, пока кто-то доложит ему, что приказ исполнен.

И все-таки Петр не был садистом. Он вовсе не наслаждался зрелищем человеческих страданий – не травил же он, к примеру, людей медведями просто для потехи, как делал Иван Грозный. Он пытал ради практических нужд государства, с целью получения необходимой информации и казнил в наказание за предательство. Для него это были естественные, общепринятые, даже нравственные поступки. И немногие из его русских и европейских современников в XVII веке взялись бы оспаривать подобные взгляды. В тот момент русской истории большее значение имела не моральная сторона петровских действий, а их результат. Сокрушение стрельцов внушило русским людям веру в жесткую, неумолимую волю Петра и продемонстрировало его железную решимость не допускать ни малейшего сопротивления своей власти. С тех пор народ понял, что остается только покориться царю, несмотря на его западные костюмы и склонности. Ведь под западной одеждой билось сердце подлинного московского властителя.

Это тоже входило в намерения Петра. Он уничтожил стрельцов, не только чтобы рассчитаться с ними или разоблачить один конкретный заговор, но и для устрашения подданных – чтобы заставить их подчиняться. Урок, каленым железом выжженный на телах стрельцов, заставляет нас сегодня в ужасе отшатываться, но он же стал неколебимым фундаментом петровской власти. Он позволил царю провести реформы и – на благо ли, на беду – до основания потрясти устои русского общества.

Новости из России ужаснули Европу, откуда Петр так недавно вернулся и где надеялся создать новое представление о своей стране. Даже общепринятое мнение о том, что монарх не может прощать измены, было сметено потоком сообщений о размахе пыток и казней в Преображенском. Этим как будто подтверждалось, что правы были те, кто считал Московию безнадежно варварской страной, а ее правителя – жестоким восточным деспотом. В Англии епископ Бернет припомнил свою оценку Петра: «Доколе он будет бичом этой страны и ее соседей? Одному Богу известно».

Петр отдавал себе отчет в том, как Запад воспримет его деяния, о чем свидетельствуют его попытки скрыть если не казни, то хотя бы истязания от находившихся в Москве иностранных дипломатов. Впоследствии царя взбесила публикация в Вене дневника Корба (он вышел на латыни, но для царя его перевели на русский язык). Возник серьезный дипломатический кризис, и императору Леопольду I пришлось согласиться на уничтожение всех нераспроданных экземпляров. Даже за теми книгами, что успели разойтись, охотились царские агенты, пытаясь их перекупить.

* * *

Пока четыре взбунтовавшихся стрелецких полка подвергались наказанию, остальные стрельцы, в том числе шесть полков, недавно посланных из Москвы служить в азовском гарнизоне, стали проявлять опасное беспокойство и угрожали соединиться с донскими казаками и выступить на Москву. «В Москве – бояре, в Азове – немцы, в воде – черти, а в земле черви» – так они выражали недовольство окружающим миром. Затем, когда стало известно о полном разгроме их товарищей, стрельцы раздумали выходить из подчинения и остались на своих постах.

Но несмотря на успех крутых мер, Петр чувствовал, что больше вообще не может выносить существования стрельцов. После кровавой расправы ненависть оставшихся в живых должна была лишь усилиться, и в стране опять мог вспыхнуть бунт. Из 2000 восставших стрельцов казнено было около 1200. Их вдов с детьми изгнали из Москвы, и жителям страны запретили помогать им; разрешалось только брать их в дворовые в отдаленных поместьях. Следующей весной Петр расформировал оставшиеся шестнадцать

стрелецких полков. Их московские дома и земельные наделы конфисковали, а самих стрельцов выслали в Сибирь и другие отдаленные места, чтобы они стали простыми крестьянами. Им навсегда запретили брать в руки оружие и наказали местным воеводам ни под каким видом не привлекать их к военной службе. Позднее, когда Северная война со Швецией потребовала непрерывных пополнений живой силы, Петр пересмотрел это решение и собрал под строжайшим надзором несколько полков из бывших стрельцов. Но в 1708 году, после последнего бунта стрельцов, стоявших в Астрахани, эти войска были окончательно запрещены.

Итак, наконец-то Петр разделался с буйными, притязавшими на власть старомосковскими солдатами-лавочниками, которые были кошмаром его детства и юности. Теперь стрельцов смели, а с ними – единственное серьезное вооруженное противостояние его политике и главное препятствие на пути реформы армии. Им на смену пришло его собственное создание – организованные на современный лад, дееспособные гвардейские полки, прошедшие западное обучение, воспитанные в верности начинаниям Петра. Но по иронии судьбы офицеры русской гвардии, набравшиеся почти исключительно из семейств дворян-землевладельцев, в недалеком будущем станут играть ту политическую роль, на которую тщетно претендовали стрельцы. Если венценосец, подобно Петру, обладал могучей волей, они были смиренны и послушны. Но когда на престоле оказывалась женщина (а так было четырежды за сто лет после смерти Петра), или ребенок (как случалось дважды), или во времена междуцарствий – в отсутствие монарха, когда преемственность власти была под сомнением, – тут-то гвардейцы и начинали «помогать» выбрать правителя. Если бы стрельцы дожили до этих времен, они могли бы позволить себе криво усмехнуться над таким поворотом событий. Впрочем, навряд ли, ведь если бы дух Петра наблюдал за ними, они бы на всякий случай придержали языки.